

**МИХАИЛ
ВОРОНОВ**

ДЕТСТВО И
ЮНОСТЬ

Михаил Воронов
Детство и юность

«Public Domain»

1862

Воронов М. А.

Детство и юность / М. А. Воронов — «Public Domain», 1862

«Родился я в 18... году, августа 1. Так гласит календарь, на страницах которого мой отец имел обыкновение делать всевозможные заметки и заносить все свои мысли и чувства. Развернув толстую, замасленную книгу на стр. 79, я увидел целый ряд иероглифов, который, по толкованию людей сведущих, означал: „Четыре часа вечера. Погода хорошая, дождик моросит. Мать (так называл отец свою жену, мою матушку) родила сына, имя: Михаил. Именины его будут праздноваться вместе с другим Михаилом – старшим“...»

Содержание

I	5
II	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Михаил Воронов

Детство и юность

(Из одних записок)

*Родился я б пустыне полудикой,
Я рос меж буйных дикарей,
И мне дала судьба, по милости великой,
В руководители псарей.*

Н. Некрасов.¹

I

Родился я в 18... году, августа 1. Так гласит календарь, на страницах которого мой отец имел обыкновение делать всевозможные заметки и заносить все свои мысли и чувства. Развернув толстую, замасленную книгу на стр. 79, я увидел целый ряд иероглифов, который, по толкованию людей сведущих, означал:

«Четыре часа вечера. Погода хорошая, дождик моросит. Мать (так называл отец свою жену, мою матушку) родила сына, имя: Михаил. Именины его будут праздноваться вместе с другим Михаилом – старшим».

Затем следовала выписка из календаря в таком роде:

«Родившийся под влиянием планеты Сатурн бывает храбр и мужествен, инде зол и вспыльчив, инде добр и мягкосердечен; при умеренной жизни доживает до 85-ти лет. Родившийся в хорошую погоду – сангвиник, в дурную – флегматик или меланхолик (зри: календарь, стр. 476)».

Иероглифы продолжались еще несколько строк, но никто до сих пор, кроме стоящего в середине фразы слова «шельма», ничего не мог разобрать. Подобными иероглифами был испещрен весь календарь, потому что мать моя, женщина тихая и добрая, дарила отцу аккуратно каждый год по ребенку, а иногда даже и сокращала этот срок. Впоследствии из рассказов матери я узнал, что я родился мертвым, так что бабушка, принимавшая меня, пророчила, что я не жилец на этом свете. Что было со мною дальше, как я рос – ничего не помню ясно до самого переезда отца с места моей родины в одну из юго-восточных губерний, где отец мой поступил в гражданскую службу (прежде он служил в военной).

Вот наше родословное древо. За краткость сведений прошу извинить!

Дед мой, как я узнал стороною, был гороховецкий крестьянин (Владимирской губернии). Отец сам не любил рассказывать о своем первобытном звании и о своих родных. «Дети болтливы, – говаривал он, – пойдут толковать да рассказывать, а там, чего доброго, откажутся от всего, и от отца, и от родных, они, дескать, мужики...» Матушка впоследствии говорила мне, что дед был человек богатый и мог бы нанять вместо отца охотника, но отец сам пожелал идти в военную службу. Службу свою отец начал и окончил в кавалерии, прослужил царю и отечеству верою и правдою тридцать лет. «Я до сорока пяти лет был необразованным человеком, – часто говорил он нам в поучение, – а всегда был на виду у начальства и считался добрым служакой. Да если бы не Герасимов, – обыкновенно прибавлял он, – может быть, до сих пор так и оставался бы необразованным». В самом деле, Герасимов (какой-то военный писарь) оказал отцу великую услугу: он научил его читать русские книги (до той поры отец читал только церковнославянские), научил его даже излагать свои мысли начертательно, посредством иеро-

глифов и, может быть, научил бы еще многому, если бы офицерский чин, а за ним женитьба не отбили в нем охоты к дальнейшему образованию. Кто были мой дед и бабка по матери, не могу сказать. Помню только, что раз один из моих братьев, ласкаясь к матери, наивно спросил ее: «Кто был ваш папенька?» Услышавши такой вопрос, отец резко закричал любопытному: «Как! ты не знаешь, кто были Симеон и Ирина?!» Несчастный вздрогнул и замолк. «Ты не знаешь, – продолжал отец тем же тоном, – кто были Симеон и Ирина, записанные в поминальной книжке?..» – «Дедушка и бабушка...» – со слезами отвечал любопытный. «Ну, так чего же спрашиваешь?» – заметил отец, опуская глаза на лежавшую перед ним псалтырь. Получивши первый офицерский чин и женившись, отец еще с большим рвением принялся за службу и прослужил до штабс-капитанского чина с честью и славой. «Тут пошли новые порядки, – говорил обыкновенно он, – ученых начали везде набирать; пошли эти экзамены разные... ну, и вышел в отставку: вижу, ничего не добьешься...» Строевой службой отец мало занимался; вся его деятельность поглощалась обучением лошадей, ремонтированием и фуражировкой. Общество его состояло по преимуществу из людей, подобно ему добившихся офицерского чина потом и кровью. «У благородных да у разных экзаменованных одно на уме, как бы подсмеяться и подшутить над тобою, простым человеком; а свой брат, дослужившийся, не возгордится... нечем...» – твердил отец. Вышедши в отставку, отец мой уехал на юг России управлять имением, где и прожил шесть лет в сообществе татарского мурзы, большого знатока вина (вероятно, служителям корана разрешается знать вкус в вине), постоянно пьяного лекаря, отставного гусарского поручика и приходского священника, любившего верховую езду. Скучная, бесцветная, а подчас и грязная жизнь, общество, стоявшее гораздо ниже моего отца, умевшего по крайней мере вести разговор о войне и вине, – все это не давало моему отцу ровно никакой возможности выйти из положения полкового вахмистра, понять, что жизнь и потребности семейства стоят несколько выше потребностей конюшенной прислуги и полковых лошадей. На службе отец не успел увидеть порядочной семейной жизни, а вышедши в отставку, он увидел ее в таком виде, что, как человек неглупый, сразу понял превосходство прежней, казарменной, забитой дисциплиною и служебными обязанностями. Грубое, тяжелое обхождение с подчиненными отец перенес в семейство, вовсе не думая о том, уместно оно или нет... Отсюда начинается требование полного подчинения от своей жены, грубое обращение с детьми, которых он судил по-военному, и, наконец, вследствие всего этого, совершенный разлад в семействе, члены которого так и рвутся в разные стороны, лишь бы представилась малейшая возможность к тому. Связанные с семьей одними только преданиями о рождении и непременно условии держаться исключительно ее, они стараются быть по возможности реже в ней – так противен им деспотизм и тяжелое обращение отца!

Проживши шесть лет управляющим, отец решился испробовать счастья в гражданской службе, надеясь получить теплое местечко: притом скучная, вечно будничная жизнь управляющего, видимо, наскучила ему. Недолго думая купил он фургон, в который легко было запихать всю семью, и отправился искать счастья в один из юго-восточных губернских городов. По дороге, как рассказывала мне матушка, заезжали в Воронеж, а оттуда двинулись дальше. По приезде отец стал усердно хлопотать о месте, ссылаясь на бедность и многочисленное семейство и особенно напирая на множество сыновей, «которые (писалось в прошениях) готовы хоть сейчас сделаться усердными слугами царю и отечеству» (старшему было лет одиннадцать). Поиски увенчались полным успехом; открылось место смотрителя тюремного замка, и отец получил его. Нужно заметить, что прежде всего этого, тотчас по прибытии на место, был куплен дом, устройством которого отец мой занимался около года; переезжая в тюремный замок, на казенную квартиру, отец сдал его.

Воспоминания мои, как видно теперь, могут начаться только с этого времени, потому что только с поступлением моего отца в смотрители острога я начинаю помнить себя ясно и

определенно; вся же предыдущая жизнь моя рисуется как бы в тумане, и нет ни одного события, которое запечатлелось бы в моей памяти так отчетливо и верно, как все приведенные ниже.

Тюремный замок, смотрителем которого был назначен мой отец, помещался близ заставы, на самом конце города. Он считался самым большим зданием в городе и вмещал в себе более восьмисот арестантов, хотя выстроен был только для двухсот. Каким образом помещались в нем остальные шестьсот человек, я до сих пор не могу объяснить себе... Помню только, что в некоторых камерах сидело человек по семидесяти, между тем как в такой комнате с трудом могло бы поместиться человек тридцать. В самую жестокую зиму в такие камеры вставлены одни только зимние рамы, то есть вторые, – о существовании летних не было и помину... Замок имел при себе три двора: два передних, обнесенных высокою стеною, и один задний, окруженный валом и рвом. На первом переднем дворе помещалась кухня и огороженное высоким забором место, на которое выпускали арестантов прогуливаться; на втором жил смотритель в укрепленном доме с железными решетками; тут же помещались арестантская баня, прачечная и цейхгауз. Женщины и пересыльные арестанты помещались в особых флигелях, выходящих окнами на первый двор. На заднем дворе находились погреб, колодезь, конюшня для рабочих лошадей и огороды для посева различных овощей.

В первые дни после нашего переезда отец был сильно занят приемом новой должности, почему дома бывал очень редко, и то ненадолго. Недели через три, когда все совершенно устроилось, он стал поговаривать о необходимости учить нас; помощником себе в этом деле он выбрал одного из арестантов, дворянина, посаженного в острог «за обман и мошенство», как гласила реестровая книга. Новый учитель был высокого роста, широкоплечий, рябой и с разорванною ноздрею; он с первого же раза навел ужас на меня, двоих братьев и сестру, обреченных на жертву науке. Пылкое детское воображение сейчас представляло себе этого варвара с нагайкою в руке, и глаза невольно застигались слезами при виде такого чудища.

Отец, как теперь помню, сидел на диване в своем кабинете, куда позвали и нас; будущий учитель стоял у двери, вытянувши руки по швам и уставя глаза на отца, который говорил ему что-то. Разговор прекратился тотчас, как вошли мы.

– Вот вам учитель, – сказал отец.

Учитель посмотрел на нас, мы на него.

– Теперь уж я не буду вас сечь, а он, вот и плеть отдам ему, – и отец отдал учителю нагайку.

– А вы-то как же? – робко спросил учитель.

– Не беспокойтесь, у меня есть другая, я себя не обижу, – возразил отец.

– Они меня, надеюсь, и без этого будут слушать, – робко заметил учитель, переминаясь на месте, и положил нагайку на стул.

– Нет, нет, возьмите; с ними без этого не обойдетесь, они уж так приучены, – перебил его отец.

Учитель взял нагайку и начал раскланиваться.

– Так вы будете учить их в комнате около церкви, об успехах каждый день говорите мне, а чистописание приходите показывать вместе с ними.

Учитель еще раз поклонился и вышел.

На другой день мы отправились вместе с отцом в назначенную для нас комнату, куда позвали и учителя; но вместо одного явилось вдруг двое: бывший частный пристав, посаженный в острог за выпуск арестантов из своей части на разбой, взялся преподавать нам арифметику и грамматику, уверяя, что он знает секрет самого скорого изучения этих наук.

– Молитесь! – провозгласил отец, когда вошли учителя.

Мы начали креститься.

– Ну, теперь, с богом, начинайте!

Мы разместились в следующем порядке: два брата на одной стороне стола, подле арестанта, посаженного «за обман и мошенство»; я и сестра одесную и ошую приставу, выпускавшего разбойников, на другой стороне; отец на третьей.

Нужно заметить, что каждый из нас знал даже писать, а читали мы довольно бойко.

Содержавшийся «за обман и мошенство» и его ученики сразу поняли друг друга и занялись сперва чтением, потом изображением арифметических знаков и, наконец, письмом; но пристав, выпускавший разбойников, никак не мог объяснить нам, что в грамматике главное – предложение и его части: подлежащее, сказуемое, связь, определительные и дополнительные слова, хотя и подкреплял свои доводы, с одной стороны, авторитетом Греча, с другой – угрозой наказания, которому должны подвергнуться бестолковые дети. Сестра и я толковали сквозь слезы «связь», «подлежащее», «сказуемое», но ровно ничего не понимали. Видя, что предложение и его части остаются непонятными, пристав начал толковать об употреблении строчных и прописных букв, на что отец заметил ему, что дослужился до штабс-капитанского чина, а фамилию свою пишет со строчной буквы, следовательно, для детей это совершенно ненужно.

– Лишь бы писали четко да красиво, да бойко читали, да арифметику знали, потому что счеты не всегда под руками, а уж эти мудрости не для них, – заметил отец.

Пристав уступил.

Началось объяснение арифметики и ее тайн, причем сделан был легкий намек на то, что извлечение корней вовсе не такая трудная вещь, как предполагают многие: что стоит только делить и помножать, делить и помножать, отчасти складывать и вычитать, и таким образом исчерпывается вся премудрость. Не знаю, как у сестры, но у меня забегали мурашки вдоль спины, когда грифель, визжа и свистя, изобразил на доске число с крючком наверху.

«Господи! Господи! – подумал я. – Вот сколько нагаяк придется получить, прежде чем извлечешь хоть половину такого корня!»

До сих пор не понимаю, зачем ему непременно хотелось учить нас корням, когда мы и четырех правил хорошенько не знали. Это он все отцу пыль в глаза пускал.

– Понимаете? – спросил нас пристав.

– Понимаем, – жалобно произнесла сестра, но так скоро, что я успел проговорить с ней только последний слог.

Дальше рассказывалось нам о дробях, именованных числах, пропорциях, отношениях и проч., причем пристав каждую такую штуку изображал на доске, а отец с любопытством произносил: «А ну-ка, дайте я взгляну».

Часа два тянулся урок; наконец отец торжественно произнес: «Довольно». Он был весьма доволен нашими успехами, почему после новой молитвы с улыбкой заметил, обращаясь к нам: «Да, хорошо-то оно хорошо... только много еще придется вас сечь, пока выучитесь»...

На крыльце нас встретила матушка и очень осталась довольна, когда узнала, что никто из нас не был наказан. Вечером нас засадили учить уроки; хотя мне и сестре не было их задано, но отец настаивал, чтобы мы повторили о корнях; и даже сам попытался изобразить что-нибудь подобное, но, по замечанию няни, «нацарапал только хвост ведьмы».

Следующий урок был на другой день. Пристав, выпустивший арестантов на разбой, не явился, и мы все четверо остались на руках посаженного «за обман и мошенство», который оказался добрейшим и смирнейшим существом. Отец явился в середине урока, спросил, как мы учимся, и, получив удовлетворительный ответ, ушел. Занятия наши с учителем ограничивались «Начатками христианского учения», арифметикой, десятью первыми страничками бестолковой грамматики Греча и чистописанием, – дальше этого мы не заблагорассудили двигаться. Учитель наш, несмотря на свою отвратительную физиономию, отлично писал, так что даже отец приходил в восторг от его почерка.

– Как, каналья, ловко пишет! – говорил отец. – Хоть бы и не эдакой роже, так и то дай бог так писать! – прибавлял он.

Каждый день вместе с учителем мы отправлялись в контору, к отцу, показать свои тетради, причем он делал различные заметки, вроде следующих: «У кого это б так пузо выпятило?» – или: «Отчего ты, Ваня, не стараешься ставить буквы в шеренгу?» – или: «Кто это написал? это ногой написано...» Раз учитель, желая разукрасить мою тетрадь, сделал на обертке ее надпись: «сия тетрадь» и т. д., причем букву *с* откаллиграфировал на славу. Когда пришли мы показывать свои произведения отцу, он с гневом спросил меня: «Это ты сам так испортил тетрадь?» Я сказал, что это сделал учитель. «Мальчишке только позволительно делать такие глупости!» – резко заметил отец. «Это каллиграфия», – скромно заметил учитель. «Не каллиграфия, а дурной пример... Вы хотите учить моих детей черт знает чему!» – и отец бросил тетрадь на пол.

Так тянулось время нашего учения, скучно и однообразно. Нередко отец, соскучившись такую монотонностью, допрашивал учителя: «Хорошо ли они учатся? не шалят ли? Вы скажите, ради бога, – прибавлял он, – не скрывайте от меня, ведь я им отец... Ведь вы сами знаете, что скрывать этого нельзя: хорошо, так хорошо; дурно – сечь, нечего делать...»

– Они хорошо себя ведут, ей-богу, хорошо! – божился учитель.

– То-то, хорошо ли? – недоверчиво и с грустью твердил отец. Он никак не мог представить себе, чтобы дети, приученные к нагайке, могли обойтись без нее.

Вот и лето прошло. Наступившая осень памятна для меня по двум замечательным событиям, которые спешу передать: первое – знакомство с заплочным мастером (палачом), второе – ночное посещение караульной, в которой наказывали буйна-арестанта.

Мы только что возвратились с уроков, которых, нужно заметить, было два – утренний и вечерний, как нянька, бегавшая неизвестно зачем на арестантскую кухню, сообщила нам, что заплочный мастер «лопает» там говядину. Младший мой брат и я тотчас побежали посмотреть на лопающего палача. Следующее зрелище предстало нашим невинным детским глазам.

В огромной закопченной комнате с кирпичным полом, с громадной русской печью посередине, столами и лавками по стенам, толпилось человек десять у одного из окон. На подоконнике сидел широкоплечий мужчина лет тридцати пяти, с черною бородою и черными курчавыми волосами, в красной рубашке и синем жилете с металлическими пуговицами. Перед ним стояла деревянная чашка с кусками вареной говядины; ломоть хлеба, отрезанный во весь каравай, с кучкой соли на стороне, лежал на мешке из толстой холстины, помещавшемся на его коленях. Заплочный мастер (это был он) быстро уничтожал лежавшую перед ним провизию, посылая в рот огромные куски хлеба и мяса. Завтрак подходил к концу, как из толпы выделился коренастый арестант, лет двадцати пяти, с клинообразною бородкою и плутоватыми серыми узенькими глазками, вертлявый и веселый, и между ним и палачом произошел следующий разговор.

– Так как же твой Николашка? – спросил арестант палача.

– Да что Николашка? Одно слово – ученик! – отвечал тот, отправляя в рот малую толику говядины.

– А он из себя-то видный... – заметил арестант.

– Елова твоя голова! – с упреком отозвался палач. – Я ничего не говорю о том, что из себя-то он видный, а я говорю, что дело свое плохо знает: в кои-то еще веки сделается мастером, – ученик, одно слово! – И палач снова наколотил рот говядиной.

– Да ведь это дело немудреное: долго ли научиться, – заметил парень; он, видимо, старался досадить палачу противоречиями.

– Ну-ка ты, шустрый, – язвительно вскрикнул палач, – ну, на вот кнут: убей человека с трех раз...

Арестант замялся. Такое милое предложение смутило его.

– С десяти не убьешь... – важно продолжал палач.

– А ты убьешь с трех? – спросил кто-то из толпы.

– Не хошь ли? Ложись, попробую, – отвечал палач, обращаясь к любопытному. Раздался общий смех.

– Да чего тут с вами рассуждать... Дай вон кружок с кадки!

Арестант с плутоватыми глазками отправился за кружком, а палач слез с окна и, взявши с коленей мешок, достал из него кнут.

– Клади кружок вот здесь! – палач указал на середину комнаты.

– Постой, я тебе задачу задам, – сказал арестант, проводя углем черту на кружке. – Вот попади три раза по одному месту.

– Велика задача!.. – с улыбкой заметил палач. – Смотри, ребята! – палач обратился к толпе, – попаду три раза по одному месту не глядя, – он отвернулся.

Раздался свист кнута, и черта вдавилась в кружок. Палач снова отвернулся в сторону, снова ударил – черта вошла еще глубже; за вторым – третий, и на кружке осталась глубокая борозда.

Все бросились к кружку и начали измерять глубину борозды.

– Вот у тебя на спине эдаких канав нароют, – заметил с улыбкой один арестант другому, сморщенному сухому старичку лет шестидесяти.

– Да, повыпрямлю спину-то, – торжественно изрек палач, довольный произведенным впечатлением. – А что, разве конфирмация² пришла? – спросил он старичка.

– Да, бают, тридцать пять ударов, – грустно ответил тот.

– Тридцать пять ничего... У меня тридцать пять бабы вылеживают, – хладнокровно заметил палач. – Нет, нынче я, братцы, как-то милостив стал: бьешь не бьешь, как ровно руки не владеют. Лет пяток тому назад – ну, тогда занимался своим делом, а теперь охоты нет.

– А вот Николашку коришь, что плох, – опять заметил арестант.

– Смешной ты человек! Николашка должен быть прилежен к этому делу опять потому же, что ученик; должен доподлинно разузнать все, – а то какой же из него мастер выйдет?

– Вот, глянь-ка, смотрителивы ценки там подслушивают, – шепнул кто-то, указывая на нас.

– А подай-ка мне их сюда да положи на кружок, я маленько попарю их! – крикнул палач, обращаясь к нам.

Мы стремглав бросились в дверь и, едва переводя дух, пустились бежать домой.

– Куда это вы бегали? – спросила нас няня.

– Палача посмотрели, – отвечали мы.

– Ах вы, дети, дети! Вы и не знаете, какой вы принимаете грех на свои душеньки: ведь он от отца, от матери отказывается – на него и смотреть-то грех!

Но мы нимало этим не смутились и после, припоминая виденное нами, сильно тужили, что не имеем такой силы, – а то бы в палачи пошли. Брат прибавлял при этом, что своего учителя он бы легко наказал, а кучера Сергеича, который не хочет покатать верхом, высек бы больно-пребольно.

Впоследствии я имел случай лично познакомиться с этим самым заплечным мастером и от него узнал все подробности наказания.

– А клеймите вы как?³ – спросил я его, зная, что они же накладывают и клейма.

– Это дело нехитрое, – отвечал палач. – В праву щеку *како*, в лоб *живете*, в леву *рицы*, – вот и готов человек!.. Впрочем, – прибавлял он, – вы пожалуйста к нам на площадь, когда наказание будет, так и увидите все, это дело стоит посмотреть.

² Конфирмация – утверждение приговора.

³ А клеймите вы как? – До 1857 года в судебной практике царской России было распространено накладывать раскаленным железом клейма на лицо осужденного.

Прошло недели две после рассказанного мною события. Раз, поздно вечером, мы сидели в кабинете отца целой семьей. Отец, оседлав свой нос большими серебряными очками, читал нам житие св. Кирика и Улиты. Вдруг вбежал в комнату солдат и с ужасом объявил:

- Куров буянит, ваше благородие, дверь вышиб!
- Опять... – проворчал отец и начал натягивать сюртук.
- Пойдем со мной, – сказал он, обращаясь ко мне.
- Не стоило бы ребенка водить на такие зрелища, – робко заметила матушка.

Отец промолчал, но взял меня за руку, и мы отправились.

Пройдя двор, мы вошли в полутемный сырой коридор, под сводами которого глухо отдавались шаги часового, бродившего в противоположном конце. Гнилой, душливый запах, двери с огромными замками и маленькими окошечками, сквозь которые пробивался тусклый свет ночников, изредка болезненный, глухой кашель, вырывавшийся из чьей-нибудь разбитой груди, – все это навело на меня какой-то ужас, и я плотно прижался к отцу и вцепился в полу его сюртука.

- Чего боишься, глупый? – с улыбкой спросил отец.
- Страшно, папенька! – прерывающимся голосом тихо пролепетал я.
- В это время мы поравнялись с пустым номером, дверь в который была полуотворена.
- А вот тут страшно? – спросил меня отец, отворив совершенно дверь.

Но прежде чем я успел ответить, сильная рука толкнула меня вперед, и дверь затворилась. Я совершенно обмер от ужаса. Хотел закричать – голос не выходит из груди. Мороз пробежал вдоль спины, и я чувствовал, что вот-вот упаду. В беспомощности я прислонился к мокрой и сырой стене, штукатурка на которой совершенно отстала и образовала пузыри вроде опухолей, в которые проскакивали мои пальцы. Миллионы чертей, ведьм и прочей страшной дряни, о которой так усердно толковала наша нянька, готовы были, казалось, сейчас предстать предо мною – как дверь отворилась снова, и отец схватил меня за руку и вывел в коридор.

– Эх, трус! – с упреком сказал он. – Даже позеленел, дурак... А еще хотел я отдать тебя в военную службу: какой же из тебя воин бы вышел?

Я молчал и сильнее прежнего вцепился в полу его сюртука.

Так прошли мы один коридор, за ним другой, потом повернули в третий, маленький, и только после перехода в четвертый очутились перед разбитой дверью, висевшей на одной нижней петле. Несколько человек солдат, с ружьями наперевес, дежурный офицер и дежурный ключник стояли в коридоре в ожидании отца.

- Где же он? – спросил отец.
- Вон, на нарах сидит, – отвечал офицер.

Все вошли в камеру, где на нарах преспокойно сидел коренастый молодец с насмешливой физиономией, подвернув ноги под себя, и от нечего делать ковырял в носу.

- Что ты делаешь, разбойник! – закричал отец.
- Мне скучно одному сидеть, – хладнокровно отвечал арестант.
- Возьмите его, – сказал отец, обращаясь к солдатам. – Я тебя развеселю! Я тебя развеселю! – задыхаясь от гнева, прибавил он и совершенно машинально взял меня за руку.

Мы прошли два небольшие коридора и вышли на главный вход, налево от которого помещалась караульная. Отец так же машинально поставил меня у самой лавки, на которую должен быть положен арестант, и закричал: «Розог!»

- Раздеть его! – прибавил офицер.

Я стремглав бросился из комнаты и несколько минут простоял за дверью, закрывши глаза и заткнувши уши. Ототкнув их, я ясно слышал, как свистали розги при каждом взмахе, слышал поощрения отца и офицера, – но ни одного крика, ни одного вздоха не вылетало из груди арестанта. Я простоял довольно долго, дрог и от холода и от сильных ощущений; наконец слышу,

отец закричал: «Довольно!» Дверь широко распахнулась, и трое солдат пронесли мимо меня что-то закутанное в шинели.

– Несите в больницу, – приказал отец.

– Миша! где ты? – крикнул он. Я подошел.

– Дрян! – с сердцем заметил отец. – Теперь я никогда не буду брать тебя с собою. А завтра будут наказывать за заставой: возьму кого-нибудь другого...

Я по-прежнему схватился за полу его сюртука, и мы отправились домой опять теми же грязными и вонючими коридорами. Отец по временам заглядывал в небольшие стекла, врезанные в двери, иногда приподнимал и меня, чтобы я мог видеть полуосвещенную внутренность камер.

Наконец мы воротились домой. Матушка спросила меня, что я видел, и когда я рассказал ей, что именно, она со вздохом взяла меня за руку и повела спать.

Утром братья ходили с отцом за заставу смотреть, как гоняли сквозь строй военных арестантов, а меня, в наказание за вчерашнюю мою трусость, отец не захотел взять с собою.

До сих пор я ничего не говорил о своем старшем брате, в то время уже учившемся в гимназии, которому было лет тринадцать. Не говорил я об нем, собственно, потому, что он уже мало-помалу начал отбиваться от семьи, над которой тяготел деспотизм отца, и день проводил в гимназии, а по вечерам, несмотря на брань и побои, уходил из дома бог весть куда; следовательно, он мало принимал участия в общем ходе семейной жизни. Отдавая его в гимназию, отец вверил надзор за ним инспектору, человеку грубому и жестокому, и надзирателю, выслужившемуся из рядовых. В каждый большой праздник он отправлялся к этим двум лицам с поклоном и подарками, прося беречь нравственность своего сына и сечь его за каждый проступок. С какою точностью исполнялась родительская воля, можно судить по тому, что брата секли раза четыре в неделю, по собственному усмотрению, и непременно раза два в месяц с разрешения отца. Мальчик озлобился и начал делать такие вещи, которые скоро доставили ему громкую известность между товарищами, а надзирателей его заставили побаиваться за собственную безопасность. Опасения их действительно скоро сбылись...

В один прекрасный день брат почему-то опоздал в класс на несколько минут. Инспектор поставил его за это на колени в дежурной комнате, где он простоял полтора часа. Начался следующий урок, а инспектор и не думал отпустить его. Так прошло еще полчаса, и инспектор ушел домой, оставив брата на коленях. Выведенный из терпения таким тиранством, мальчик придумал следующую штуку... В комнате, где он стоял, висели единственные в гимназии часы, по которым производились звонки об окончании классов: брат перевел их вперед, а явившийся сторож, увидя, что пришло урочное время, зазвонил. Учителя и ученики вышли из классов и хотя сомневались в такой быстроте времени, однако преспокойно разошлись по домам; вместе с другими отправился и брат. Штука открылась, разумеется, тотчас же, и вновь явившийся в гимназию брат был жестоко наказан розгами и посажен в карцер. Постоянно направляемый розгами на путь истины, бедный мальчик окончательно совратился с него, и явившемуся с увещаниями надзирателю, грозившему заporоть его до смерти, дал несколько ударов в лицо и изорвал тщательно сберегаемый темно-синий фрак. Окровавленный и ободранный надзиратель прискакал прямо к отцу и увез его с собою. Что было дальше – неизвестно...

Так прошел месяц, в течение которого мы ни разу не видели брата и ничего не слышали о нем, хотя догадывались, в чем дело. Матушка плакала чаще обыкновенного и все о чем-то шепталась с няней; отец, постоянно мрачный и суровый, теперь сделался еще мрачнее. Нам приказывали ходить как можно тише и не шуметь и постоянно усаживали за книгу или высылали на двор, несмотря на осеннюю погоду.

Наконец как-то поутру, когда мы только что воротились с урока, брат встретил нас с сияющей, хотя значительно похудевшей физиономией. Начались расспросы, и он торжественно

объявил нам, что хотя и вылежал больше месяца в постели за «проклятую» гимназию, зато теперь перешел в уездное училище.

– Там, – с восторгом объяснял он, – не то, что в гимназии; там семинария рядом и кулачные бои бывают каждый день; а когда есть свободное время, так даже раза по два...

Мы тоже радовались такому счастью, хотя скоро должны были разочароваться по следующему обстоятельству.

Месяца через полтора, уже зимою, брат воротился домой из училища в ужаснейшем виде!.. Вместо носа у него образовался какой-то нарост, угрожавший заслонить собою все лицо и расплывшийся направо и налево по щекам; на лбу торчали такие ужаснейшие шишки, что не было никакой возможности прикрыть их козырьком фуражки; кроме того, он жаловался на боль в правой руке и спине. Показать в таком виде отцу значило заранее обречь себя на гибель; потому брат укрывался кое-где, натирая лицо бодягой и упрашивая всех говорить отцу, что он готовится к полугодичному экзамену. Но все эти хитрости были слишком слабы, чтобы скрыть горькую истину. Отец наконец узнал все и только покачал головою, проворчав про себя: «От рук отбилась мальчишка...»

Такой оборот дела совершенно ободрил брата, и он рассказал нам все.

– Что же, что он мне шишки набил?.. – говорил брат. – Ведь он зато считается первым силачом в семинарии: вон в воскресенье целую стену калачников разогнал. Да и я бы ему сам рогов наставил, если бы было где повернуться, а то он меня сбросил на кучу кирпичей, да и ну валять! Если б я не упал, я бы его под ножку, да потом вот так!.. потом вот эдак!.. потом вот как!.. – И брат начал показывать нам все хитрости кулачного боя.

Мы смотрели на него с каким-то уважением, видя перед собой такого великого героя, украшенного всеми принадлежностями лучшего кулачного бойца: синяками, шишками, рубцами, фонарями и проч.

Между тем наступившая зима брала свое. Снег шел почти каждый день, и морозы стояли довольно крепкие. Отец купил нам двое салазков, в которых позволялось кататься вечером после урока. Иногда случалось смотреть нам травлю зайцев и волков, которая производилась на огромном поле за острогом, по желанию сидевшего в то время в замке помещика и с разрешения отца. Другой помещик, тоже большой охотник, посаженный в острог «за какую-то засеченную им девку», как говорил он, не хотевшую, как оказалось, сделаться предметом его сладострастия, трубил при этом в рог с таким остервенением, что постоянно перепутывал всех – и собак и охотников. Садки бывали довольно часто, и мы являлись на каждую или официально, с разрешения отца, или тихонько пробирались за стену острога и смотрели оттуда. После одной из таких прогулок, на которую нам не дано было разрешения, отец в наказание запер нас в холодный сарай возле бани, где стояла огромная кадка, служившая резервуаром для воды. Мы уселись на полу и плотно прижались друг к другу, но холод был до того нестерпим и нас продержали так долго, что, позабыв всякую боязнь худшего наказания, мы начали голосить целым хором. Руки и ноги у каждого из нас до того одеревенели, что мы совершенно не могли ими ворочать. Особенно плакала сестра, которая, разумеется, была нежнее и слабее нас. Наконец отец догадался выпустить нас, наказав предварительно за то, что мы осмелились плакать, между тем как сами же были всему причиной. Вероятно, это наказание послужило в нашу пользу, сразу подняв температуру крови, потому что мы не почувствовали ни малейшей простуды.

Ученье мое между тем быстро подвигалось вперед: я уже довольно бойко читал, а писал далеко лучше отца, хотя он иногда и сравнивал мои буквы с своими иероглифами и даже уверял, что он лучше меня пишет; другим же отец меня рекомендовал как гениального мальчика, прибавляя: «Вы посмотрите, как он пишет, точно печатает». Но вскоре моей гениальности суждено было испытать самый жестокий удар...

Комната, в которой учились мы, имела, как все комнаты в остроге, окна с железными решетками. Дело было перед пасхой. Выставили рамы, и мне непременно хотелось просунуть голову сквозь решетку и подышать чистым весенним воздухом. Несмотря на увещания учителя, я вскарабкался на окно и начал приводить в исполнение задуманную мысль. Промежутки между прутьями решетки оказались слишком узкими, так что попытка моя удалась после чрезвычайных усилий. Совершенно довольный успехом, я с жадностью смотрел то направо, то налево и наконец до того увлекся, что начал плевать вниз, стараясь попадать в одно и то же место. Учитель несколько раз советовал мне сойти с окна, но я не слушал. После долгих упражнений я действительно начал плевать в одну и ту же точку, раз за разом, как вдруг услышал позади себя голоса отца и еще кого-то.

– Отлично пишет, ваше превосходительство, – говорил отец. – У ребенка девяти лет совершенно министерский почерк... совершенно... Да где же он? – спросил отец учителя.

– Они вон на окне, – смиренно отвечал тот. Положение ребенка с министерским почерком было совершенно критическое: он упирался и руками и ногами, стараясь высвободить голову из решетки, поворачивался то направо, то налево, пятился назад, подвигался вперед, – все напрасно, ничто не помогало.

– Да он к тому же бойкий мальчик, – заметило постороннее лицо и, подойдя к окну, посмотрело на меня сбоку. – Что, мой друг, застряла голова? – прибавило лицо с улыбкой, уходя.

Я продолжал биться и прыгать, как лошадь в кузнечном станке.

– Вы совершенно осрамили меня, – тихо заметил отец учителю. – Оставьте так его до вечера, – прибавил он и поспешил за посторонним лицом, мимоходом вытянув меня чем-то по спине.

Тотчас по уходе отца учитель побежал за мылом; мне намылили уши и щеки и тогда только кое-как освободили голову из добровольного заключения.

Но вот наступило лето, и отец стал поговаривать о том, как бы отдать меня в гимназию. Притом же брат мой, так увлекавшийся сначала уездным училищем, теперь стал упрашивать отца перевести его обратно в гимназию: он понял наконец, что гимназия все-таки лучше уездного училища.

Утром, в один из праздничных дней, отец приказал мне одеваться, чтобы ехать вместе с ним. Я с радостью исполнил его приказание, и мы отправились.

До сих пор я ни разу не видел хорошенько города и с любопытством озирался на обе стороны, расспрашивая отца обо всем, встречавшемся на пути. Чтобы отделаться от моих докучных вопросов, отец объявил мне, что скоро я сам узнаю обо всем, когда буду ходить в гимназию. Мы приехали в гимназию, в квартиру директора, который встретил нас в зале. Это был низенький, толстенький человечек, с порядочным брюшком, по которому он постоянно похлопывал, как бы стараясь дать другим заметить, что вот-де оно какое у меня. После различных китайских церемоний, поклонов, вопросов и ответов о здоровье и погоде, отец наконец представил меня ему.

– Вот хотел бы я, ваше превосходительство (директор был статский советник)⁴, определить его в гимназию под покровительство ваше, – сказал отец.

– Что же, что же, можно, можно... – и директор захолопал по брюху.

– Дома-то он совсем избалуется, а у вас все-таки.

– У нас все-таки... у нас все-таки... – и опять хлопанье по брюху.

– Он закон божий, арифметику и грамматику знает, – пояснил отец.

⁴ ...ваше превосходительство (директор был статский советник)... – Назвав директора гимназии – статского советника по чину – «превосходительством», отец рассказчика польстил ему, так как статские советники не имели права на этот титул.

– Больше ничего и не нужно... больше ничего и не нужно... Мы латыни выучим, всему выучим... и всему выучим... – твердил директор, опуская докучную ладонь на брюхо.

– Пишет отлично, – ввернул-таки отец.

– Тем лучше, тем лучше, а то у нас учитель чистописания злой: все уши обобьет линейкой, все уши обобьет линейкой...

Тут отец и директор подались вперед и протянули правые руки, после какого-то рукоприкладства отец, как человек военный, опустил свою на шов, а директор, как гражданский чин, понес свою сначала в левый карман жилета, а потом уж захлопал по брюху.

– Когда же, ваше превосходительство, приводить его прикажете? – спросил отец.

– В августе, в августе... в первых числах, в первых числах...

– А старшего-то как же, ваше превосходительство?

– Не приму, не приму... Негодяй! – возразил директор. – Начальство не уважает и бьет, начальство бьет...

– Он исправится, ваше превосходительство... – Отец и директор опять совершили рукоприкладство, после чего директор забормотал:

– Хорошо, хорошо... приму, приму... только пусть исправится, пусть исправится...

– Да уж в этом будьте благонадежны – исправится, – поручился отец.

Мы раскланялись с директором и отправились к инспектору, который жил тоже в гимназии. С инспектором (он был поляк) отец обходился гораздо бесцеремоннее, чем с директором, и даже иногда позволял себе подшучивать над ним, уверяя, например, что отдает полную справедливость его уму, но никак не может простить того, что он, вместе с другими поляками, «проспал Варшаву» (известный упрек, делаемый полякам нашим простонародьем). Инспектор сердился и отвечал отцу колкостями. После долгих споров подали водку, и инспектор начал толковать о трудности своей обязанности, за что и получил от отца беленькую...

От инспектора мы поехали домой. Дорогой отец толковал о новой жизни, в которую предназначается мне вступить, и советовал прилежно учиться и хорошо вести себя, уверяя, что инспектор и директор такие люди, которые готовы съесть ленивого и безнравственного ученика.

По приезде домой я рассказал, обо всем братьям и сестрам, которые позавидовали моему счастью; няня при этом объявила мне, что будет звать меня не иначе, как «красной говядиной» или «грачом» (клички гимназистов, чрезвычайно распространенные в то время).

Я был в совершенном восторге. К тому же у меня образовался в это время порядочный альт, и отец позволил мне петь на клиросе в острожной церкви, где мы вместе с гнусавым дьячком и дряхлым ключником, певшим дискантом, отличались на левой стороне, образуя трио. Но счастью моему, как и всякому счастью в сей жизни, суждено было на некоторое время помрачиться... Дело было вот какого рода.

В первый воскресный день, забежав в кабинет отца, я уронил на пол и разбил вдребезги любимый его фарфоровый стакан. Отец окончательно вышел из себя... Но куда он ходил в детскую за нагайкой – я скрылся. Зазвонили к обедне, и отец, сопровождаемый кучей детей мужского и женского пола, отправился в церковь, приказав няне отыскать меня и привести туда же. Делать нечего – нужно повиноваться. Вошедши в церковь (обедня уже началась), я, по обыкновению, стал пробираться на левый клирос, как был остановлен резким криком отца: «Куда ты?» Я совершенно оторопел. Дьякон, услышав крик, сбился в произносимой им ектении, но, к счастью, скоро поправился и продолжал. Отец между тем подозвал меня к себе и, взявши за ухо, поставил на колени на амвон, против образа богородицы. Я опустил глаза в землю и начал учащенно накладывать на себя крестное знамение и делать поклоны, стараясь хотя сколько-нибудь скрыть от других свое волнение и свое тяжелое положение. Оправившись, я взглянул на левый клирос, где грустные лица дьячка и ключника, сочувствовавших моему горю и убитых тем, что расстроилось трио, глубоко тронули мое детское сердце. Совершенно

уничтоженный таким неожиданным оборотом дела, я уставил глаза на образ богоматери и на ее святом лике ясно прочел печаль и сожаление обо мне. Это меня несколько ободрило, и я спокойно выстоял на коленях целую обедню, после которой отец засадил меня читать жития святых и продержал в детской за этой книгой целых три дня. Наконец в один прекрасный день я получил амнистию, потому что скоро должен был отправиться в гимназию.

II

А вот и время моего отправления в гимназию наступило. Раз поутру отец разбудил меня часов в шесть и велел готовиться к отправлению на приемный экзамен. Я тотчас оделся, взял в руки арифметику и начал перелистывать ее, вовсе не думая читать, потому что голова моя была занята совершенно иным. Фантазия быстро представляла один за другим различные образы, в которые воплощалась моя собственная персона: то являлся маленький гимназистик, бойко отвечающий свой урок и хвалимый учителем; то рослый, плечистый молодец, побивающий целую толпу своих товарищей; то наконец робкое, забитое, чахлое существо, от которого я с негодованием отворачивался, как от странного порождения праздной фантазии... Подержав в руках арифметику, я принялся перелистывать точно таким же образом грамматику, в которой был гораздо слабее. Пересматривая цифры на страницах, я наконец остановился на самой большой из них, думая, что уж тут непременно должно быть что-нибудь важное. Начинаю вчитываться... Раз прочел – не понимаю; в другой – тоже; в третий читаю – та же история. Я уже хотел бросить мудреную книгу, как вдруг подходит отец и спрашивает меня, что я читаю. Я ответил: «Граматику». – «Ну, вот ты это место долго читаешь, дай я спрошу: знаешь ли?» Отец взял у меня книгу и громогласно произнес: «Говори отсюда: глаголы начинательные...» Я молчал. «Как же ты учил, учил, а ничего не знаешь?» – спросил отец. «Да этого я не учил, это я так только посмотрел». – «А, так-то ты готовишься к экзамену?» – протянул отец. – Стань на колени и учи, что нужно», – прибавил он. Я повиновался и со слезами на глазах начал бормотать какое-то давно мне известное правило. Наконец встали мои братья и сестры и начали бегать мимо меня, стараясь узнать, за что я поставлен на колени. Я уткнул лицо в книгу, читая мертвые и сухие правила, которые едва ли могли пойти в голову, и на все расспросы братьев отвечал только энергическим движением головы. Так выстоял я до девяти часов. Отец не велел мне даже давать чаю, потому что, говорил он, сытое брюхо к учению глухо... Так отравлена была заря моего счастья!

Часов в девять мы отправились: я, старший брат и отец. Дорогой отец делал наставления брату в таком роде: «Ой, берегись, Миша! ой, берегись делать такие шалости! Ты ведь знаешь, что у меня нет пощады... Я тогда тебе полтора года розог дал, теперь двести дам – и в кантонисты! Я тебе, как перед богом, говорю это!» Брат молчал и нервно подергивал губами, вероятно припоминая «полтора года».

По приезде в гимназию мы пошли в публичный зал, где производились в это время экзамены. Директор сидел у одного стола вместе с вертлявым господином, тонким и изящно одетым, и другим господином, толстым, опухшим, хриплым и грязным; инспектор, на противоположном конце зала, у другого стола, тоже с двумя существами, из которых одно было немецкой расы, другое – русской, с сивушным запахом, как случилось мне заметить, проходя мимо него. Перед обоими столами стояли гимназисты, человек по пяти. Мы направились к директорскому столу.

– Вот, ваше превосходительство, привез детей, – произнес отец, обращаясь к директору.

– Прекрасно, прекрасно, – сказал директор. – Мы сейчас этого маленького проэкзаменуем, проэкзаменуем... – И директор обратился к вертлявому господину, приказав ему проэкзаменовать меня из математики и прочих наук.

– Они-с в первый-с класс? – спросил вертлявый директора.

– Да, в первый, – отвечал тот.

Вертлявый господин не без грации приподнялся со своего места, осторожно взял меня двумя пальцами за рукав и повел к доске. Тут он скорчил серьезную мину и задал мне какую-то задачу, которую я разрешил удовлетворительно, за что и был подарен от моего экзаменатора приветливой улыбкой. Потом он спросил меня кое-что из закона божия, причем не замедлил

пуститься даже в различные тонкости. Спросил меня также вертлявый господин и из грамматики, в которой, надобно заметить, он не был таким знатоком, как известный пристав, выпустивший разбойников из части, хотя тоже пробовал пускаться в различные отвлеченности. Тем мой экзамен и кончился. Вертлявый опять схватил меня двумя пальцами за рукав и повел к директорскому столу.

– Они прекрасно-с выдержали экзамен, – с лакейскими поклонами и ухватками сообщил мой экзаменатор директору.

Дальше начался разговор между отцом и директором по поводу брата, причем директор объявил, что принимает его не иначе, как на прежних условиях, то есть сечь четыре раза в неделю по собственному усмотрению и два раза в месяц с разрешения отца.

– Завтра можно в классы приходить, в классы приходить, – сказал нам директор, когда мы откланялись.

На лестнице догнал нас опухший, хриплый толстяк, сидевший за директорским столом, и, схвативши отца за руку, спросил:

– Какую, я забыл, наливку вы мне хвалили?

– Вишневка, вишневка, – отвечал отец. – Приезжайте попить.

– То-то, то-то... А я все сию да думаю: какую, мол, наливку он мне хвалил? а спросить-то неловко. Теперь приеду, теперь уж не отвертитесь; сыновей в гимназию отдаете, нужно вспрыснуть, – прибавил опухший и захохотал.

– Милости прошу, – отвечал отец, и мы пошли дальше, оставивши толстяка в приятной надежде на изрядную выпивку.

Я приехал домой в совершенном восторге. Экзамен выдержал отлично, завтра пойду в гимназию, стало быть, все-таки реже буду встречаться с отцом, – какое счастье! Ко всему этому, в довершение моей радости, после обеда портной из арестантов принес мне гимназический сюртук и фуражку с красным околышем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.